

Д.И. Рубина
ВСЁ ТОТ ЖЕ СОН!..

Моя никчёмность стала очевидной годам уже к тринадцати. С точными науками к тому времени я отношения выяснила, а высокие помыслы и сердечный пыл, круто замешанные на любви к литературе, тщетно пыталась приспособить к какому-нибудь делу. Вообще в отрочестве меня одолевал зуд благородной деятельности.

Например, в восьмом классе я влезла в школьный драмкружок и ухитрилась сыграть роль Григория Отрепьева в трагедии Пушкина «Борис Годунов».

Мы собирались ставить две сцены – «В келье» и «У фонтана». Теперь необходимо представить меня: бледное дитя подросткового периода. Очки в детской оправе, сутулость и бестолковые руки. Вегето-сосудистая дистония и, конечно же, мальчишеская стрижка, я же современная девочка.

Разумеется, я претендовала на роль красавицы Марины Мнишек. Но наша классная руководительница Баба Лиза распределяла роли, руководствуясь соображениями педагогического характера.

– А тебе мы поручаем играть Самозванца, – сказала она.

Баба Лиза преподавала нам литературу. Это была пожилая гипертоничка, тянущая, как запряжённый вол, две ставки и общественную нагрузку – школьный драмкружок. Думаю, она мечтала о пенсии, но боялась, что дети повесят на неё гроздь внуков. Из-за страшной занятости Баба Лиза уже лет двадцать не могла выкроить минутку, чтобы взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что время, увы, не стоит на месте. Только этим можно было объяснить пунцовый маникюр на её дутых старческих пальчиках и глубокие вырезы на платьях. Её пухлая шея перетекала в мощно отлитый бюст, который, в свою очередь, плавно переходил в колени. В углублении выреза, ущемлённое бюстом, неизменно выглядывало поросячье ушко носового платка. Но самым примечательным был её голос. Баба Лиза булькала, как суп в кастрюле на тихом огне.

– Лизветсемённа, а почему мне – Самозванец? – канючила я. – Он отрицательный, он из меня не получится...

Баба Лиза вытянула из выреза платок за поросычье ухо, обстоятельно высморкалась.

– Хватит придуриваться, – посоветовала она доброжелательно и затолкнула платок обратно. – Посмотри в свой дневник: алгебра – два, два, три, физика – три, три, два. Нормальный из тебя Самозванец.

Роль монаха Пимена досталась моему однокласснику, шпане большого полёта Сеньке Плоткину. Сколько помнила я Сеньку, чуть ли не с первого класса он, как боевой самолёт, всегда был «на вылете». Едва успокаивался один скандал, вызванный Сенькиной проделкой, как тут же вспыхивал другой. На недавнем комсомольском собрании решено было на Плоткина влиять, и при распределении ролей сочли, что лучше Пушкина вряд ли кто сможет повлиять на Сеньку.

– Плоткин, ты у нас будешь Пименом, – деловито сообщила Сеньке Баба Лиза. – Или пеняй на себя.

Тот задохнулся от возмущения.

– Я ж спортивный сектор! – завопил он. – Всё на одного валить, да?!

– Плоткин, ты свои обстоятельства знаешь, – невозмутимо напомнила Баба Лиза. – Ты на вылете.

Словом, Сенька был припёрт к стене. Ему, как и мне, ничего не оставалось делать, как сунуть голову в хомут постылой роли. С той только разницей, что во мне всё-таки бушевала любовь к литературе, а в Сеньке – совсем иные силы.

...На первой читке, взглянув в столбцы убористых строк, Сенька обезумел от горя.

– На фиг!! – орал он дурным голосом. – Я такого за сто лет не выучу! Здесь все слова непонятные!

– А про детскую комнату милиции тебе всё понятно, Плоткин? – холодно осведомилась Баба Лиза. – Или забыл, что ты на вылете?

Итак, в гулком актовом зале, под стенгазетой «Заботливая женская рука», оставшейся висеть ещё с восьмимартовского праздника, мы начали репетиции. Сенька был демонстративно безразличен и туп.

Он делал бычий взгляд, прежде чем прочесть реплику, отваливал нижнюю челюсть, и без того, надо сказать, тупую и тяжёлую, мычал и намеренно путал текст.

– Э... э... э... и пыль веков... мм... мм... от хари отряхнув...

– «От хартий», Плоткин, «от хартий»! – булькала Баба Лиза. – Читай внимательно: «И пыль веков от хартий отряхнув».

Мне тоже не нравилась моя роль, я не знала, как подступиться к Григорию Самозванцу. Вот с Мариной Мнишек всё было ясно, тем более что дня два я репетировала Марину дома, перед зеркалом: высокомерно изгибала бровь, вздёргивала подбородок и прикрывала лицо веером – признак коварства... А Самозванец? Ну как прикажете играть человека, если «ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая»?!!

Но, в отличие от Сеньки, и – повторяюсь – из любви к литературе, текст я проговаривала чётко, с некоторой затаённой злобностью, чтобы дать намёк на далеко идущие планы Григория.

Так мы репетировали в пустом актовом зале – запинаящийся туповатый Пимен и злобный Самозванец. Мною Баба Лиза была очень довольна, когда же вступал Сенька – морщилась, вытягивала из выреза платок и прочищала нос.

Наконец, Сенька дополз до заключительных слов Пимена: «Поддай костыль, Григорий...»

Он заржал и, подняв голову, заинтересованно спросил:

– А где костыль-то?

– Какой костыль? – Баба Лиза вздремнула, возглас Сеньки её пробудил.

– Ну вот написано: «Поддай костыль, Григорий», – значит, она мне должна костыль подать, и я похромаю отсюда.

– Обойдётся без костыля.

– Почему? – неожиданно возмутился Сенька. – Если Пушкин про костыль написал...

– Ну швабру возьмёшь, – примирительно посоветовала я Сеньке.

– Ещё чего – швабру! А они, в зале, что – дурные? Швабру от костыля не отличат?

Сенька очень воодушевился. На переменках подбегал ко мне и повторял на разные лады: «Поддай костыль, Григорий!» – то грозно, то устало-дружелюбно, то слёзно-умоляюще... За весь день он так осточертел мне с этим костылём, что, когда на алгебре больно ткнул ручкой мне между лопаток, прошипев

восторженно: «Поддай костыль, Григорий», – я взвыла и, крикнув: «На!», стукнула Сеньку портфелем по башке.

На другой день, подходя к школе, я увидела Плоткина. Он стоял перед входными дверьми, навалился на костыль и подогнув ногу, а увидев меня, сорвал с головы кепку и протянул её с радостным воплем: «Поддай, Григорий!!!»

– У дедки выпросил! – счастливо сообщил он. – Дед у меня пять лет назад ногу ломал, целых два месяца, как кузнечик, на костыле скакал. А я вчера в сарай полез, гляжу – лежит костылик, родимый! Еле у дедки выпросил его!

Репетировал Сенька в этот день совсем по-другому. Правда, на протяжении всей сцены он несколько томился в ожидании заветной реплики, но зато уж её выдал как следует – кряхтя, с хрипотцой, со вздохом. В нужный момент я подала Сеньке костыль, и он пошёл прочь, тяжело наваливаясь на него всем телом.

После репетиции мы побежали относить костыль на третий этаж, в учительскую, где велела хранить его Баба Лиза. Сенька упорно скакал на одной ноге, опираясь на костыль, охая и заваливаясь набок. При этом он чуть не сбил с ног Захара Львовича, нашего завуча.

– Плоткин, что за вид? – устало спросил завуч.

– Захар Львович, я репетирую! – радостно выпалил Сенька. – Я монах! Ещё одно, последнее сказанье!

– Плоткин, предупреждаю: ещё одно, последнее сказанье, и летопись окончена твоя, – сказал на это Захар Львович. – Ты и так давно на вылете.

...Текст Сенька учил тяжело, медленно, многих слов не понимал. Зато, когда, наконец, выучил наизусть роль Пимена, стали происходить с Сенькой странные вещи.

После одной из репетиций он позвонил мне домой.

– Слышь, Григорий, – сказал Сенька, – я тебе вот что хотел сказать – ты, это... когда просыпаешься, не вопи...

– Когда – просыпаюсь? – оторопело переспросила я. Сенькин звонок оторвал меня от «Клуба кинопутешественников».

– Ну, когда в келье просыпаешься и начинаешь – «Всё тот же сон!» – ты это... не ори, не надо.

– Я не ору, – обиделась я. – Просто я хорошо артикулирую.

Сенька замешкался с ответом, видно, не знал слова «артикулирую». Потом сказал:

– Нет, правда, Григорий. Ты же проснулась. Ты со сна ещё не понимаешь – где сон, где жизнь, где ты лежишь... Ты это... бормотать должна...

– Это ты всё бормочешь, дурак! – вспылила я. – Потому что двух слов связать не можешь! И не лезь в мою роль! Костыль несчастный!

Я бросила трубку и пошла досматривать «Клуб кинопутешественников». Но Сенькина наглость не давала мне сосредоточиться. Он позвонил минут через двадцать.

– Григорий, не пыли, а?.. – дружески попросил он. – Я посоветоваться только хотел... Это... Как ты думаешь, Пимен – псих или не псих?

– Здрасьте, Плоткин! Ты сам, кажется, псих. Григорий же ясно говорит: «Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погружённый, он летопись свою ведёт...»

– Ну и что... Ненормальный – это ж не обязательно, чтобы на людей бросаться. Он, может быть, тихо помешанный.

– Плоткин, – расстроилась я, – не понимаю, чего ты добиваешься!

Он помолчал и сказал:

– Выдь к «Хозтоварам» на минутку.

– Ты в своём уме – одиннадцатый час!

– Ну выдь, слышь, Григорий. Меня мысли мучают...

...Сенька слонялся вдоль голубоватых светящихся витрин «Хозтоваров», вдоль выставленных щёток, кухонных досок, стиральных машин и бледных эмалированных мисок.

Холодный ветер врвался в тёмные переулки, шебаршил по тротуарам сухими листьями, рылся в куче сора, сметённого дворником. Было зябко, сыро, страшновато.

– Ну?! – спросила я, подбежав к витринам. – Быстро говори, в чём дело, меня на пять минут выпустили.

Сенька покусал нижнюю губу, оглянулся в переулок и сказал:

– Вот что происходит: этот сон твой, Григорий, не простой.

– А какой? – не поняла я.

– Это же вещий сон, понимаешь? Всё так и было с ним. Потом. Он из окна башни прыгнул.

– С чего ты взял?

– Я читал. Я всё воскресенье в библиотеке просидел. И ещё пойду, – Сенька сглотнул и подвинулся ближе. Свет витрин синевато-холодными бликами играл на его скулах. – Плохо дело, Григорий. Оказывается, Годунов не убивал царевича Димитрия.

– Ну и что? – опасливо косясь на Сенькины сведённые брови, спросила я. – Пушкин-то про это не знал.

– Но я-то знаю! – выкрикнул бледный Плоткин. – Значит, Пимен этот либо врёт, либо помешанный и верит в то, что говорит.

– Тогда все верили, – строго возразила я. – И потом, какая разница? Тебе-то что? Текст ты выучил, играешь хорошо...

– А ты – плохо, – упавшим голосом проговорил вдруг Сенька и, пряча глаза, заторопился: – Ты не обижайся, Григорий, но правда – я старика так любить начал в последнее время, прямо как себя. Особенно когда говорю: «А прочее погибло безвозвратно. Но близок день, лампада догорает – ещё одно, последнее сказанье...» – мне, знаешь, прям вот верится, что я старый-старый, как дедка мой, и недолго жить осталось, и лампада счас потухнет, и вот... прям грустно так помирать... И тебя жалко, что ты такой одинокий на лавке спишь, что у тебя судьба такая... окаянная. И даже, – он покосился на витрины и понизил голос, – в Бога верить начинаю... Правда! – Он перевёл дыхание. – А тут ты как рывкнешь: «Всё тот же сон!» – так у меня настроение обрывается и хочется костылём в тебя запустить... – Сенька заглянул мне в лицо и пояснил виновато: – Мешаешь, Григорий....

– Что же делать? – я была уязвлена в лучших своих чувствах, растеряна. Сенька – Пимен наступал своим костылём на мою незыблемую любовь к литературе. А ведь я знала наизусть всю сцену и таким ясным, звучным голосом декламировала роль Самозванца, намекая на его коварные планы. И Баба Лиза была мною довольна...

Но присутствовала в Сенькиных словах правда, не признать которую я не могла – опять-таки из любви к литературе. И я признала её.

– Что же делать? – потерянно повторила я. Сенька оживился.

– А ты представь, что ты сирота, – предложил он. Я напряглась, представила себе нашу квартиру без отца и мамы... Получалось, что они в санаторий уехали.

– Не верится... – призналась я.

– Пошли в темноту, – решительно сказал Сенька. – Здесь витрины наглые.

Он взял меня за руку, и мы побрели в сторону тёмных пустых дворов.

– Ты сирота, – говорил Сенька проникновенным полушёпотом. – С малых лет по монастырям шатаешься. Думаешь, сладко? Спишь где попало, месяцами не моешься... Дадут поесть – поешь, не дадут – голодный. А ты такой молодой, Григорий, так жить тебе охота... И сон проклятый один и тот же снится, снится; проснёшься – сердце от него колотится: что за сон? К чему он? Он не знает, какая дикая и страшная судьба его ждёт, но ты-то знаешь: значит, должна играть, вроде он предчувствует и бросается в эту судьбу, как с башни потом бросился...

– А тебе его жалко?

– Не знаю, – подумав, сказал Сенька. – Лично мне – не очень. Он, конечно, был аферист и Самозванец. Но с другой стороны – он ведь не знал, что Годунов не убивал. И Марину так любил... И кричал в бою: «Довольно: щадите русскую кровь. Отбой!»

...Где-то в глубокой промозглой тьме высоко над нашими разгорячёнными лбами испуганно шуршала сухими листьями чинара. Дождик принимался крапывать и снова запинался, обмирая... Мы дрожали от ночного рваного ветра и пытались разобраться сразу во всём – в правде и лжи, в добре и зле, в жизни, в литературе, в Пушкине, в театре. Мы перебивали друг друга, ругались, горестно вдруг умолкали оба.

Сенька бормотал сбивчиво, всё пытался объяснить мне, что мучает его:

– Как, как, Григорий, как мне его играть? Вот он сидит и пишет, но я-то знаю, что он враньё пишет. Может, от его вранья люди столько веков Борису Годунову это мокрое дело шили.

– Дурак, Сенька! – горячилась я. – Его же не существовало! Его же Пушкин придумал, этого Пимена!

– Выходит, Пушкин врал?

– Да нет, Пушкин верил тем историческим сведениям!

– Но мы-то не верим! Значит, что же – я знаю, что человек не убивал, и я же в этой дурацкой привязанной бороде сижу и долдоню: «Владыкою себе цареубийцу мы нарекли!»

– Сенька! Это нельзя всерьёз принимать, это же искусство! Ли-те-ра-ту-ра!

– Плевал я на твою литературу! – крикнул он измученно. – Вот откажусь играть, и всё!

– Сумасшедший, ты ж и так на вылете!

– Плевал я на всё! – он повернулся и пошёл прочь по тёмному двору, но вдруг вернулся, подбежал ко мне. – Вот как хочешь, а Пимена можно только тронутым играть. Вроде он слегка тронулся от долгого сидения в монастыре и эта фигня с убиенным Димитрием ему в воспалённых мозгах привиделась. Только так! – И добавил отчаянно: – Или пусть меня из школы выгоняют!

Осенний дождь долго приготавливал свои ударные инструменты: вначале, робко запинаясь, шуршали метёлки, пробормотал что-то маленький барабан, потом заторопился, зачастил и ухнул, наконец, ливень, гулко ударившись о крыши, о листья чинар... Грохнули где-то литавры осени, запели водосточные трубы, ветер разом стих, и тёмные дворы, одетые певучим дождём, вздохнули мокрою землёй... Под фарой машины на углу вспыхнула лужа. Мимо нас протрусил болонка, растрёпанная, как хризантема...

Сенька метался под деревом, мокрыми ладонями стирая капли с лица, и говорил без умолку. Я слушала.

Не знаю, понимала ли я тогда, что присутствую при пробуждении таланта, но я была подавлена тем, как близко к сердцу Сенька принял вымысел, химеру. Пусть даже и пушкинский вымысел.

Это не Сенька – шпана и неуч, книгу в руки не бравший, – протестовал против исторической несправедливости, это талант его пробудился и требовал правды. Собственно, в этом и была разница между талантом и бесталанностью – Сенька в вымысле жить желал подлинной жизнью, а реальность собственного существования – двойки, замечания, угроза вылететь из школы – волновала его куда меньше. Я же хорошо артикулировала. Вот и всё...

...Я поднялась по лестнице и позвонила в нашу квартиру. Дверь рванули, передо мной стоял отец в мокром плаще, в туфлях.

– Папа... мы... насчёт Пушкина... насчёт Годунова... – бормотала я, пытаюсь поймать ногами пол. Трудно оправдываться, когда тебя волокут за шиворот и по пути методично поддают коленом.

Наконец отец устал и на полдороге к маме бросил меня в крутящееся кресло, куда мне обычно не разрешалось садиться и крутиться, считалось, что этим я его ломаю. Тут я шлёпнулась в него и завертелась, как космонавт в центрифуге. Отец остановил вращение.

– Где ты была? – спросил он тяжело дыша. – Только не лги! Я обегал весь квартал.

– Папа... – пробормотала я.

Над отцовским плечом, как бледная луна, всплыло мамино лицо – залитое слезами, словно не отец, а она искала меня под дождём.

– Не смотри на нас чистыми глазами!! – истерически выкрикнула мама и зарыдала. – Мы имеем право знать правду!

– Я правду... Мы о Пушкине... Полчасика...

– О господи! – простонала мама. – Без четверти три!

Что, что я могла им рассказать, когда во мне роилось столько смутных разрозненных слов и я была бессильна перед их полчищем? Я и сейчас порой прихожу в отчаяние, когда туча слов, словно рой пчёл, налетает на меня, и я должна выбрать несколько, сложить их в порядок, вывести на бумаге – приблизительный подстрочник страстно мычащей души...

Я лежала в постели, смотрела в пепельный сумрак окна и слышала обрывки нервного разговора родителей за стеною:

– Чем она отбrehивалась?

– Не знаю, что-то про Пушкина... Как всегда, неудачно...

Да, – горько думала я, – да, сейчас там из паники, из домыслов, из перепуганного воображения рождается химера моей порочности. Не так ли возникла легенда об убийстве царевича Димитрия – другие масштабы, конечно, но механизм тот же...

...Пролетела за окном птичка майна – афганский скворец, уселась на ветку ближнего дерева и проговорила что-то бойко и убедительно. Она, как и я, хорошо артикулировала...

С этого дня я как-то сникла, охладела к репетициям и роль постылого Самозванца волочила халатно – так грузчик мебельного магазина тащит чужое пианино, нимало не заботясь о том, что угол инструмента поцарапается о дверной косяк.

А между тем, по запросу директора школы, нам со склада городского оперного театра выдали под расписку две монашеские рясы – ветхие, пыльные и необъятные. Одну мы ушили для меня, другую для Сеньки. Кроме того, выдали для Пимена седой лохматый парик ковёрного и трухлявую бороду, которая тихо облетала в особо патетических местах Сенькиных монологов.

Сенька расцветал день ото дня. Он приволок из того же сарая во дворе старую керосиновую лампу с прокопчённым стеклом, две какие-то толстенные, изъеденные мышами и пылью, книжищи без начала и конца с «ятями» и во время репетиций раздражал Бабу Лизу различными манипуляциями с этими предметами.

– Плоткин! – булькала она. – Прекрати вскакивать и размахивать руками и не бормочи, тебя не слышно! Не трепи бороду, она казённая! Сядь за стол и говори чётко, в сторону зала.

Наконец настал он, день Сенькиного триумфа. В актовом зале набилось публики самой разной – родители, учителя, представители районо. В третьем ряду слева сидел благостный старичок в мешковатом пиджаке, в галстук. Это Сенькин дед пришёл полюбоваться то ли на внука, то ли на свой костыль...

Облачившись в оперные рясы, мы с Сенькой томились в комнатке за сценой, которая называлась неловким словом «уборная». Сенька сидел, расставив локти, упираясь ладонями в острые под рясой колени, и смотрел в стену перед собой тяжёлым взглядом. Я пробовала заговорить с ним, он оборвал меня досадливо:

– Не мешай!

Вот-вот должны были объявить наш выход. В комнатку вдвинулась бюстом Баба Лиза, оглядела нас по-хозяйски.

– Плоткин, где твоя борода? Немедленно прицепи.

– Она мне мешает, – хмуро возразил Сенька.

– Плоткин, не устраивай сюрпризов. Немедленно привяжи к ушам бороду! – уголок носового платка выглядывал из выреза, словно за пазухой сидел и дрожал маленький испуганный поросёнок.

– Борода мне мешает, – упрямо повторил Сенька, – лицо чешется, я сосредоточиться не могу. Не надо бороду, я её сыграю.

– Что?! – булькнула Баба Лиза, но тут в дверь заглянула рыхлая пионервожатая с красным потным лицом и крикнула, отдуваясь:

– Кто с Пушкиным? Пошли!

Сенька побелел, взял керосиновую лампу, книги под мышку и, почему-то сторбившись, шаркая, пошёл. Я – за ним.

Едва мы успели расположиться – Пимен за столом, с лампадой и книгами, я – ничком на деревянной лавке из спортзала, – как занавес раздвинулся. Приглушённый шумок в зале стих. Я зажмурилась от света, от множества лиц. Я чувствовала на себе сотни заинтересованных взглядов, и это было мучительно и страшно. Хотелось подтянуть ноги к животу, свернуться калачиком и защитить голову руками. И в этот момент, лежа ничком и деревенея от сознания, что сейчас мне придётся выговорить слово, и не одно, – в этот момент я вдруг поняла, что забыла костыль в учительской. Жизнь во мне оборвалась, сердце остановилось, разум померк. Потом вдруг всё встрепенулось, забилося, задёргалось – ведь надо было как-то дать Сеньке знать о надвигающейся катастрофе!

Между тем Пимен начал сцену. Он начал негромко, устало:

– Ещё одно, последнее сказанье –

И летопись окончена моя...

Зал вдруг куда-то сгинул. Приоткрыв глаз, я смотрела на Пимена. А он – не Сенька вовсе, а старый старик, больной, хромой – не торопился. Он никуда не торопился, потому что не было никакого зала, никаких зрителей. Старик жил в своей келье, писал свой труд – куда ему было торопиться?

Баба Лиза, решив, очевидно, что Сенька забыл текст, шипела из-за кулис: «Исполнен долг!.. Исполнен долг!»

А Пимен потёр ладонями лицо, уставшее лицо человека, всю ночь не сомкнувшего глаз, погладил несуществующую бороду, прикрутил фитиль в лампаде и тихо положил обе ладони на толстую книгу.

Исполнен долг, завещанный от Бога

Мне, грешному... –

задумчиво проговорил он.

С трусливо колотящимся сердцем я ждала своей очереди. Катастрофа надвигалась. Костыль был занесён над моею головой как Божья кара. Мысленно перебирая пушкинские строки, я старалась сообразить – где удобнее ввернуть словцо про беду с костылём.

Между тем надвигалась секунда, когда мне следовало вступить: «Всё тот же сон!» И я вступила!!! Для этого мне потребовалось усилие, не меньшее, чем если бы я, с парашютом за спиной, шагнула в тошнотворную бездну.

Продираясь сквозь райские кущи пушкинских строк, я понимала, что мы гибнем. Голос мой, всегда ясный и звучный – моя гордость и услада Бабы Лизы, – звучал сейчас козлиным тенорком.

Пимен обернулся ко мне и спросил добродушно:

– Проснулся, брат?

Я почувствовала, что момент наступил. Сейчас или никогда.

– Благослови меня, – промычала я пластилиновыми губами. – Костыль в учительской забыла...

Сенька вздрогнул, ужас осветил его величавое чело, он замешкался на мгновение, потом выдал привычной скороговоркой:

– Благослови Господь

Тебя и днесь, и присно, и вовеки.

Я перевела дух. Теперь всё было в порядке. Я, как всё тот же нерадивый грузчик, свалила свою ношу на Сенькины плечи. Теперь Сенька должен был выкручиваться из ситуации. В конце концов, пусть молчит про костыль – подумаешь, важная мысль гениального поэта!

Ты всё писал, и сном не позабылся, –

с облегчением зачастила я... Словом, сцена покатила дальше. Но странное дело: она катилась легко только на моих репликах и монологах, скакала, как речушка по камням. Когда в диалог вступал Пимен, на речушке словно плотины ставили – она делалась глубже, полноводнее, огромные валуны ворочались силами подводных течений, целая жизнь происходила там, на дне слов и фраз. Кроме того, что-то происходило и с самим Пименом. Он постепенно преображался – ушли куда-то смирение и величавая неспешность. Монолог стал рваным, нервным, Пимен то умолкал, то вновь продолжал громко, с вызовом:

Так говорил державный государь,
И сладко речь из уст его лилася,
И плакал он. А мы в слезах молились.
Да ниспошлёт Господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
А сын его Фёдор? На престоле
Он вздыхал о мирном житие
Молчальника...

Нет, ошибся Григорий – совсем не смиренным становился Пимен, когда речь заходила о царях, о придворных бурях – словом, о политике! Взгляд его бегал, он трепал и почёсывал свою несуществующую бороду, нервно потирал руки. Словом, Пимен был неслыханно возбуждён. Сенька никогда не играл его таким на репетициях. Сейчас Пимен был на грани нервного припадка. Последние слова перед моей репликой он выкрикнул как проклятье:

О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли!!

Я была несколько смущена таким поворотом дела. И дальше продолжала робко, почти испуганно поглядывая на Сеньку:

Давно, честный отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия-царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.

Что наступило вслед за этими словами, я буду помнить всю жизнь. Сенька отскочил в сторону, словно только и ждал этого вопроса, ткнул в меня костлявым пальцем и вкрадчиво, с придыханием начал:

Ох, помню!
Привёл меня Бог видеть злое дело,
Кровавый грех...

Он вился вокруг меня, Григория, как хромой шаман, он закручивал неслыханную пружину – голос его взлетал в исступлённой ненависти, взвизгивал, глаза налились кровью. На словах: «Вот, вот злодей! – раздался общий вопль» – Пимен замолотил кулаком по столу. Было совершенно очевидным, что старик на этой истории спятил, она его давний пунктик, и – кто знает! – может, он сам её выдумал. Он задыхался, закатывал глаза, выкрикивал:

И чудо – вдруг мертвец затрепетал.

«Покайтесь!» – народ им завопил:

И в ужасе под топором злодеи

Покаялись – и назвали Бориса.

Монолог кончился.

Пимен рухнул на стул и уронил голову на руки. Он обессилел после припадка... Я же была испугана по-настоящему. Мне показалось, что Сенька сам сошёл с ума. Рехнулся на почве театральных переживаний. Но дело надо было доводить до конца. Дрожащим тенором я спросила:

– Каких был лет царевич убиенный?

Пимен молчал. Я уже хотела повторить вопрос, но он поднял голову, уставился на меня тусклым оловянным зрачком. Такие глаза бывали у нашей больной соседки после эпилептического приступа.

«Да лет семи, – пробормотал Сенька, – ему бы ныне было (тому прошло уж десять лет... нет, больше: двенадцать лет)».

Наступила огромная ватная пауза, в течение которой произошло вот что: тусклый глаз Пимена зажётся странной мыслью, всё лицо озарила дикая тонкая улыбка, он повернулся к залу, обвёл чуть ли не каждого горящими глазами, обернулся ко мне и проговорил негромко, внятно, словно вбивая каждое слово в мою тугодумную башку:

...Он был бы твой ровесник, и цар-ство-вал;

но Бог судил иное...

И замолчал, вглядываясь в моё лицо, словно проверяя, понял ли Григорий всё, что следовало ему понять.

И дальше уже продолжал успокоенно, величаво, так, как начинал сцену. Он подбирался к злополучной строчке с костылём, но я была спокойна – ведь я просигналила Сеньке об опасности, он обязан был выкрутиться. Но, как

выяснилось, я недооценила Сенькину способность вживаться в роль. Сейчас он был настолько Пименом и никем больше, что ему просто не было до моих проблем никакого дела. Близилась развязка:

А мне пора, пора уж отдохнуть, –
устало покашливая, продолжал Пимен, –

И погасить лампаду... Но звонят
К заутрени... благослови, Господь,
Своих рабов! Подай костыль, Григорий.

Я оцепенела, сердце моё остановилось во второй раз. Вытаращив глаза на Сеньку, я не двигалась.

– Подай костыль, Григорий, –
повторил Сенька слегка раздражённо.

И мне ничего не оставалось делать, как идти искать костыль. Я долго болталась по сцене под гробовое молчание зала. Заглядывала под скамейки, дважды залезала под стол... Наконец, я поняла, что Сенька мне на помощь не придёт, так как сидит в образе по самую макушку, как гвоздь, вбитый по самую шляпку. Я вылезла из-под стола, отряхнула пыльную рясу и виновато развела руками:

– Увы, Пимен, его здесь нет... –
выдавила я. Вдруг из зала послышался старческий голос:

– Вот те на! Куды ж он девался?

В зале прыснули и насторожились.

– Должно, монахи спёрли, –
предположила я извиняющимся тоном. Неожиданный диалог с залом несколько приободрил меня. Сенька же смотрел на меня с ненавистью.

– Тогда я так пойду... –
хрипло и угрожающе обронил он.

– Иди, – разрешила я упавшим голосом.

И Пимен похромал за кулисы. У меня хватило мужества закончить сцену заключительными словами Григория, и я понуро удалилась под треснувшие мне в спину аплодисменты.

Нас дважды вызывали. Мы с Сенькой кланялись, не глядя друг на друга. В третьем ряду слева сидел Сенькин дед и хлопал с обескураженным видом – он так и не понял, зачем внук утащил из сарая костыль. Галстук у него был толстый, серый, в полосочку... Когда же мы вернулись в уборную, Пимен, не обращая внимания на возмущенно булькающую Бабу Лизу («Плоткин, тебе твои хулиганские штучки даром не...»), схватил книжищу с ятями и молча остервенело опустил мне на голову со всею страстностью монаха-отшельника. Я не защищалась, а Сенька, судя по всему, собрался бить меня справедливо и подробно, тем более что Баба Лиза от ужаса булькнула и умолкла, словно утонула.

Но тут кто-то сзади сказал звучно, с хохотком:

– Н-ну, братья монахи, где ваше смирение?

В дверях комнатки стоял человек – молодой, курчавый, небольшого роста.

– К тому же даму бить некрасиво, даже если она провалила ваш дебют. Ведь, по крайней мере, она чётко подавала текст...

Курчавый человек сунул Сеньке крепкую маленькую руку и сказал:

– Александр Сергеевич.

Сенька отвалил челюсть и спросил:

– В каком смысле?

– В том смысле, что это моё имя-отчество. Такая вот неприятность. Я – руководитель молодёжного театра-студии на базе университета. Сегодня совершенно случайно оказался на вашем торжестве и совсем не жалею. Сколько вам, молодой человек? Шестнадцать?

– Пятнадцать, – буркнул Сенька, приобретая бурый колер.

– Приходите к нам. Вам нужно заниматься всерьёз. Приходите. Каждую среду и субботу в пять вечера. Аудитория тридцать девять. Вахтёру скажете, что я пригласил, он пропустит. Договорились?

– Спасибо, – пробормотал Сенька с совершенно температурным видом.

Курчавый Александр Сергеевич вышел было, но вдруг вернулся.

– Кстати, – сказал он весело. – Это ваша версия с Пименом? Вы действительно считаете его чуть ли не рычагом всей драмы? И сошедшим с ума политиканом?

Сенька совсем оробел, поскольку ничего не понял, и только честно пожал плечами.

– Нет-нет, это интересно, – сказал курчавый. – Это смело. Хотя, думаю, ошибочно... Ну, приходите, поспорим...

С Сенькой мы не разговаривали до конца десятого класса. На выпускном вечере он попробовал растопить лёд нашей ссоры идиотским приглашением на танец. Подошёл и спросил, криво ухмыляясь:

– Спляшем, Григорий?

А на мне платье было белое, колоколом, совершенно прекрасное, причёска была из отросших волос, и даже губы я тронула маминой помадой. Спляшем, говорит, Григорий?..

Я сказала:

– Хромай отсюда. Костыль!

Вот так...

Наши судьбы, сведённые однажды промозгой ночью под испуганно шелестящей чинарой, разлетелись врозь, каждая в своём направлении. До меня, конечно, долетали обрывки слухов – что Сенька окончил театральный институт, но не актёрский, а режиссёрский факультет, потом попала на глаза заметка, в которой ругали спектакль, им поставленный, за бездоказательно новую трактовку какой-то исторической пьесы. Заметка, надо сказать, тоже была достаточно бездоказательна.

Лет через пятнадцать я оказалась в родном городе. Перезвонила с одноклассниками, узнала новости – кто кем стал, кто с кем разошёлся, у кого сколько детей.

– Про Плоткина слышно там, в столице? – спросила одноклассница. – Он же у нас режиссёр, знаменитость. Говорят, кошмарно талантливый. Вроде его в Москву приглашали даже, обещали постановку в каком-то театре... Ты встреться с ним, он совсем не зазнался. Телефон дать?

...Я не стала звонить Сеньке. Просто пришла на репетицию в наш старый драмтеатр, где Семён Плоткин числился очередным режиссёром. Мы с ним столкнулись в пустом фойе. Он оторопел, удивился, обрадовался, обнял меня.

– Какими судьбами, Григорий?

– Мог бы изречь что-нибудь потеатральней, – заметила я. – Ты ж, говорят, молодой талант.

– Я старый хрен, – возразил Сенька. – Смотри, половины зубов нет. Скоро буду булькать, как Баба Лиза... Знаешь, я её иногда приглашаю на спектакль. Жалко, старенькая... булькает...

Мы зашли в буфет, взяли по чашечке кофе.

– А ты как, Григорий? – спросил он. – Пишешь, говорят?.. Не читал, прости. Времени не хватает.

– Не беда, – простила я. – Главное, чтоб на Пушкина хватало. Помнишь сцену «В келье»? «Ещё одно, последнее сказанье...» Помнишь?

– А как же! Я был тогда очень талантливый и мог перевернуть театр. Я запросто мог сыграть Гамлета.

– Тогда ты про Гамлета ничего не знал, – возразила я. – Ты был шпаной и разгильдяем... Ты всегда был на вылете.

– Я и сейчас на вылете, – усмехнулся он, – у меня напряжённые отношения с Главным.

Мы ещё поболтали о том о сём, допили свой кофе с каучуковыми булочками из театрального буфета, и Сенька вышел проводить меня до троллейбуса. Он шёл, подняв воротник плаща, и, энергично жестикулируя, рассказывал, как задумал поставить «Макбета» – совершенно по-новому, опрокидывая все традиционные взгляды на Шекспира.

– Где ты будешь ставить?

– Пока нигде... – сказал он, поёживаясь от зябкого ветра. – Пока – так... в воображении...

– Ты хоть помнишь, как мы дрожали под дождём всю ночь – решали проблемы жизни, театра?

– Дураки, – усмехнулся Сенька. – Лучше бы целовались.

– Ну, целоваться-то рановато было, – возразила я.

– В пятнадцать лет? Брось. В самый раз, – он помолчал и сказал вдруг: – Ты ни о чём не жалеешь? В смысле выбора... Вот ты да я – чёрт-те чем заняты – химерой, вымыслом. Иногда по ночам думаю: здоровый мужик – на что жизнь кладу? Нужно ли это кому-нибудь или только нам? А, Григорий? – он смотрел

на меня, и в его лице было что-то от того Сеньки, который слонялся под деревом ночью, мучаясь неразрешимыми вопросами.

Подвалил мой шестнадцатый.

Перед тем как я поднялась в троллейбус, Сенька вдруг поцеловал мне на прощание руку.

– Галантным заделался, – грустно усмехнулась я, – всё равно помню, как ты дореволюционной книгой меня по башке треснул.

– Я был влюблён в тебя, – сказал он. – Ради тебя я согласился играть Пимена.

Двери сошлись, троллейбус качнулся.

– Что ж ты молчал, костыль несчастный? – воскликнула я, но Сенька меня уже не слышал. Он стоял, улыбаясь вслед троллейбусу – руки в карманах, – шпана неотёсанная...

1986